Хозяйка большого дома

Автор:
Карина Демина

Хозяйка большого дома

Карина Демина

Мир Камня и Железа #4

Война между двумя нечеловеческими расами – альвами и железными оборотнями – перекроила мир и отняла у Ийлэ не только семью, но и веру в людей. В ее доме поселился новый хозяин. Он из рода псов, которых Ийлэ ненавидит. Еще бы, ведь ей пришлось несколько месяцев терпеть их издевательства! Тем более подозрительными кажутся ей доброта и забота Райдо из рода Мягкого Олова, который получил ее поместье в награду. Что ему нужно в доме Ийлэ: сокровища, которые свели в могилу ее родителей, а затем и их убийц, или она сама, упрямая альва, не готовая поверить, что из ненависти может родиться совсем иное чувство?

Карина Демина

Хозяйка большого дома

Глава 1

Младенца Райдо нашел на кухне.

Не спалось. Давненько уже не спалось: ночью боль наступала. И порой Райдо казалось, что все его тело, и без того сшитое из лоскутов, вот-вот рассыплется.

Он открывал глаза, пялился в потолок, по темноте серый, грязный и в разводах. Вытягивал руку, не то пытаясь дотянуться до этого потолка, не то просто убеждаясь, что еще способен шевелить руками. Малейшее движение отзывалось болью, и Райдо с непонятным ему самому удовлетворением изучал ее оттенки, гадая, когда же все закончится.

Доктора утверждали, что прогноз хороший и с наступлением зимы разрыв-цветок уснет, правда, когда Райдо спрашивал, а что будет весной, они отводили взгляд.

Бестолочи.

Он знал, что умрет, так какая разница! Зима, весна или вот осень…

Дожди седьмой день кряду. Райдо считал дни, зачеркивая их красным карандашом на обоях. Поначалу ему казалось, что он не протянет хоть сколько бы долго, но вереница крестов у кровати росла, и теперь Райдо нашел очередное развлечение – рассматривал их, пытаясь вспомнить день, который был скрыт за тем или иным крестом.

Получалось хреново.

У него всегда получалось хреново с памятью, а уж теперь, когда эта самая память здорово отравлена алкоголем…

…бутылка на полу.

Первое время Дайна ставила бутылку на столик, хороший столик, аккуратный, под белой скатеркой и кружевной салфеткой, которую Дайна старательно крахмалила, но от салфетки все одно тянуло щелоком и еще чем-то, что в безумной голове Райдо прочно увязывалось с госпиталем.

Дерьмо.

Полное.

Салфетку он сжег, и скатерть, и столик попытался, а вот бутылку оставил.

У кровати.

И сейчас он руку спустил, зашевелил пальцами, пробуя нащупать горлышко.

Не давалась. А когда далась, паскудина этакая, то обнаружилось, что бутылка пуста. И от этой жизненной несправедливости Райдо взвыл. Мысленно. Выть вслух не позволяла гордость.

Зацепившись рукой за изголовье кровати, металлическое, витое, раздражавшее острым запахом холодного железа, который по дождям сделался особо резким, Райдо сел. Голова кружилась. Сколько он выпил? Много. Но недостаточно много, чтобы уснуть.

– Бутылка, – позвал Райдо, щурясь, – ты где? Цып-цып-цып…

Должна быть. В комнате всегда имелся запас. Дайна следила, ставила где-нибудь поближе к кровати. И Райдо, опустившись на четвереньки, под кровать заглянул.

Пусто.

Ан нет, что-то виднеется под столиком. Далеко. И Райдо не дойдет. Или все-таки дойдет? Если на четвереньках… раз-два… стоять тяжело, и тело того и гляди развалится. Но ничего, как-нибудь, пусть лучше развалится с вискарем, чем без оного.

И эта бутылка оказалась пустой.

– Вот гадство, – сказал Райдо и добавил пару слов покрепче, потому как ситуация располагала.

Он поднялся, опираясь на несчастный столик. Комната качалась. Или Райдо качался?

Нажраться успел.

Матушке бы не понравилось. Матушка бы укоризненно покачала головой и, быть может, сказала бы, что Райдо следует взять себя в руки. Он и взял. И даже постоял, опираясь на подоконник, пялясь в окно. Темное. Рама белая, свежевыкрашенная. А гарью тянет, но не от рамы – от стены…

…дом горел – давно, наверное, вечность тому, поскольку на войне время идет совсем иначе, но война позади и дом подлатали, прежде чем вручить Райдо.

Законная награда.

И радоваться бы, а он чует шрамы, которые странным образом роднят его и этот альвийский особняк. Но сочувствия не испытывает. Порой Райдо начинало казаться, что он вообще утратил способность испытывать какие-либо эмоции помимо раздражения, да и то постепенно утопало в море виски…

…да, о виски думать надо.

…о бутылках-бутылочках, которые прячутся на кухне, в погребе. Райдо точно знал, что виски Дайна запирает, не от него, но от Ната, который еще слишком молод, чтобы пить. Смешно. Воевать – не молод, а пить – увы…

…но Райдо знает, куда убирают ключ. И вообще, он хозяин в доме!

Дом был живым и тоже мучился болью, которую доставляли что старые раны, что новые жильцы, не способные их зарастить.

– Весной я сдохну, – пообещал Райдо, проводя ладонью по шершавой стене. – А ты, напротив, оживешь. Я оставлю завещание, чтоб тебя подкормили… и вообще… к хрысевой матери все.

Дом молчал.

Спал уже? Если так, то ему повезло. Райдо тоже поспал бы, хотя бы пару часов, но для этого нужно виски, которое немного приглушит боль. И плевать, что и сон его будет пьяным, главное, что этот сон в принципе будет.

– Сейчас я соберусь с духом и дойду до двери.

Можно было бы кликнуть Ната. Он бы сгонял за виски, но Райдо только представил встревоженный взгляд мальчишки, в котором и страх, и надежда – интересно, на что он надеется? – и скрытая жалость. Жалости он не хотел.

Чего жалеть?

С каждым могло случиться… и жаль, что сразу не умер… был бы героем, а так… кто?

В затянутом дождями стекле отражался он. Герой? Тихий алкоголик, который живет от бутылки до бутылки. И ради бутылки. Вода размыла шрамы и черты исказила, и Райдо провел по стеклу ладонью, а потом, влажной, пахнущей этим самым затяжным дождем, лицо отер.

Нет уж, пусть Нат спит, у него свои кошмары. А кошмары – дело личное, можно сказать, интимного свойства. И Райдо не настолько ослаб, чтобы до кухни не добраться…

…главное, ночной горшок не задеть, а то грохоту будет…

…тоже придумали, ночной горшок ставить…

…он не лежачий. Пока.

Когда-нибудь, к весне ближе. Может, тогда и хватит силы духа избавить и себя от мучений, и близких от невыносимого ожидания. Мысль о смерти была настолько притягательной, что Райдо остановился. А чего, собственно говоря, он тянет?

Ночь. Тихая такая… спокойная. Подходящая для того, чтобы сдохнуть. Вот только…

– На хрен, – с чувством произнес Райдо, делая осторожный шаг в сторону двери. – Нажрусь и отосплюсь. А там зима, слышишь, ты, тварь?

То, что сидело внутри, прорастая, раздирая тело, точно оно не в достаточной мере разодрано было, не отозвалось. И ладно.

И к лучшему.

Когда оно отзывалось, Райдо приходилось закусывать руку, чтобы позорно не заорать…

…а сейчас орать нельзя. Разбудит.

Сейчас надо осторожно добраться до двери. И от двери до лестницы, которая вниз ведет… двадцать две ступеньки… что такое двадцать две ступеньки? На каждую у него слово найдется доброе, матерное… главное, чтобы шепотом, чтобы осторожно. И дом, решив подыграть, замирает. Не скрипят доски паркета, не вздыхают трубы, ветер, свивший в пустых каминах гнездо, и тот примолк. И ладно.

Некогда огромный холл в темноте выглядит бесконечным. Темные стены. Черные зеркала. А картин нет, сожгли. Это ж какими уродами надо быть, чтобы сжечь картины? Райдо точно знает – были… он рамы нашел… и обрывок пейзажа… у себя спрятал.

Зачем?

А просто так. В детстве он камни красивые собирал. И осколки стекла. И прочий хлам, который тогда казался драгоценным, и теперь вот захотелось сокровищ…

Дайна сказала, что на чердаке сохранилась пара сундуков со старыми вещами и надо бы их глянуть, разобрать, выкинуть ненужное, а Райдо запретил их трогать. Он бы сам добрался до чердака, но туда дальше, чем до кухни, а сил у него не так и много. Дом качает… укачивает… если прилечь, то и колыбельную споет. Райдо бы прилег, только ведь знает – не уснет.

Без виски.

Темный коридор.

И дверь приоткрыта. Аромат свежего хлеба и еще мяса, которое привозили тушами и разделывали тут же, на старой почерневшей колоде… молоко… ароматные травы.

Дождь.

Приоткрыто окно, должно быть, кухарка оставила, пытаясь избавить кухню от дыма, который пропитал здесь все: старая печь чадила, и дымоходы по-хорошему следовало бы почистить. Как-нибудь потом. Зимой, например.

Глядишь, зимой он и вправду немного оживет.

А сейчас Райдо, добравшись до окна – на подоконнике расплывалась темная лужа, – прижался лбом к холодному стеклу.

Хорошо.

Дышать легко. Он и не понимал, насколько ему не хватало воздуха и воды, пусть вода эта холодна, каждое прикосновение почти ожог, но до чего хорошо.

И умирать он погодит. Потянет еще немного, день или два… десять… сто… сколько получится, не ради себя, но ради таких вот мгновений, когда он, Райдо, чувствует себя почти живым. Присев, он коснулся пальцем лужи, провел по ней, ощущая и воду, и шершавую поверхность подоконника, обернулся.

И увидел младенца.

Точнее, Райдо не сразу понял, что это именно младенец, так, груда тряпья. Кухарка забыла? Она никогда и ничего не забывала, полнотелая розовая женщина, до того плотная, что Райдо не мог отделаться от чувства, что собственная шкура ей тесна. Она носила серое платье и белые фартуки, которых было ровно семь штук, на каждый день недели – свой. По пятницам кухарка замачивала фартуки в щелоке, а по субботам – кипятила. Старую колоду перед рубкой мяса она обязательно обдавала кипятком, а стол скоблила с какой-то маниакальной страстью и уж точно не стала бы оставлять на нем грязные тряпки.

От тряпок несло уборной, и запах этот, до того скрытый средь иных, обычных кухонных, вдруг стал резким. А Райдо подумал, что, наверное, ему мерещится. Предупреждали ведь, что разум его, затуманенный болью и выпивкой, способен играть злые шутки.

– Надо же, – пробормотал Райдо, отступая от подоконника. До стола он добрался и, вытянув палец, ткнул в тряпье.

Мокрое. Грязное и…

Райдо зажмурился, убеждая себя, что ему все-таки примерещилось. Но нет, тряпье не исчезло.

Младенец тоже. Он лежал тихонько, уставившись на Райдо огромными какими-то стеклянными глазами.

– Ты кто? – Райдо осторожно потянул за тряпку, которая, похоже, некогда была старой шалью. – Нет, я понимаю, что ты не ответишь, просто привык разговаривать… особо тут поговорить не с кем…

Младенец моргнул, как-то медленно, отчего стало понятно, что и это действие стоило ему немалых усилий. Личико его, в полумраке представлявшееся одним белым пятном, исказилось, рот приоткрылся, обнажив белесые десны, но младенец не издал ни звука.

– Гм, – сказал Райдо, потому как ситуация требовала слов, а в голове было пусто, не считая, конечно, привычного уже шума, рожденного исключительно хмелем. – Ну… здравствуй, что ли?

Шаль он развернул. Влажная. И тряпье под ней темное, провонявшее.

– Это надо снять. А то простынешь. Ты не думай, у меня опыт есть, я с детьми дело имел… у меня племянники… между прочим, трое… или уже четверо?

Он разворачивал тряпку за тряпкой, а младенец смотрел.

Видел ли?

Тощий какой.

Или не тощий, а… неправильный младенец. Младенцам – Райдо знал это совершенно точно – полагается быть бело-розовыми и толстыми, с перетяжками на ручках и ножках, с округлыми животами и кисло-сладким запахом молока. А этот… раздувшийся живот-пузырь и неестественно тонкие ручонки. Ноги-веточки, ступни на них – словно на нитках висят. И кожа бледная, холодная.

– Да ты замерзла. – Райдо торопливо рванул рубаху, забыв, что давно уже не способен снять ее сам.

Ложь.

Вполне вот способен. И снять, и разодрать ворот… ничего, Дайна заштопает. Или новую купит. В конце концов, что такое рубашка? Пустяк.

Или многое, если теплая.

Райдо торопливо разостлал ее на столе. Младенца он брал осторожно, опасаясь, что, стоит прикоснуться, и тот исчезнет.

Или умрет.

Он ведь почти уже умер, дышит еле-еле… но в руках слабо шевельнулся.

– Вот так… мы с тобой сейчас…

Он заворачивал найденыша в рубашку, радуясь тому, что рубашка эта теплая и огромная, хватит, чтобы укутать с головой.

На макушке топорщились темные волосики. И пахло от них лесом, осенним, волглым, который виднелся за краем поля. И в первый день еще Райдо сумел до него добраться, сел на опушке и дышал. Смотрел на сине-зеленые лапы елей, на стволы их, покрытые мелкой чешуей коры, на янтарные слезы…

– Тише, маленькая… мы сейчас… – Он совершенно растерялся, вдруг поняв, что не представляет себе, что делать дальше. – Сейчас мы…

…Ната надо позвать.

…или Дайну… или кого-нибудь, но в доме, кажется, никого больше и нет. Значит, Ната. Пусть берет лошадь и в город за треклятым доктором, который из Райдо своими советами душу вынул.

Райдо доктор не нужен.

А малышка умирает, и – как знать! – дождется ли помощи…

Он уже открыл рот, чтобы заорать, не имя, но просто заорать, дооораться до кого-нибудь в растреклятом пустом доме, слишком большом для одного, когда сзади раздалось шипение.

И Райдо оглянулся.

Отродье почти сдохло.

Оно умирало давно, и, по-хорошему, следовало бы отпустить его, но Ийлэ продолжала делиться силой. Зачем?

Не знала.

Она потерялась. И умерла, наверное, еще тогда, прошлой осенью, а то, что осталось, – не Ийлэ. Оно иррационально. Оно ненавидит отродье и все-таки не способно его бросить.

Оно боится одиночества?

Ийлэ засмеялась, прижимая сверток, который давно уже перестал плакать, к груди. Смех клокотал в горле. Колючий. И горький. И еще, наверное, безумный, но разве здесь был хоть кто-то, кто способен испугаться ее безумия?

Никого.

Наверное, она могла бы остаться здесь, меж корней старой ели, которая растопырила колючие лапы – хоть какая-то, а защита от дождя. Он, начавшийся неделю тому, все шел и шел.

Влажный воздух. Влажные листья, сопревшие, темно-бурые, но если закопаться в них, становится теплей. В сон клонит. И иногда Ийлэ позволяет себе поспать, правда недолго, просыпается от голода и еще потому, что отродье вновь подходит к самому краю. Нить его жизни, и без того тонкая, ныне вовсе стала паутиной из тех, старых, которые рвутся не прикосновением – дыханием.

Дыханием и спасаются.

Ийлэ наклоняется к бледному лицу, стараясь не замечать черт его, раскрывает губы и вливает в раззявленный рот отродья еще немного сил: если умирать, то вдвоем. А там какая разница – в дожде ли, в снегу, до которого уже недолго. А еще раньше, предупреждая, ударят морозы, и лес окончательно провалится в глубокий сон. Силы иссякнут.

И закончится эта нелепая, самой Ийлэ непонятная борьба.

Давно пора бы, а она все живет. Вчера, позавчера и за день до того. И дни сплетаются бесконечной вереницей. Дни забрали лето и удобную обжитую нору, заставив пробираться к дому, который, предатель, стоит, будто бы и не случилось ничего…

…она вжалась в листву.

Мокрая.

И одежда мокрая. И тряпье, в которое завернуто отродье, тоже мокрое. А в доме сухо. Он ведь рядом, Ийлэ знает и эту ель, и поле, и тропу, которая, верно, не заросла. На кухне всегда оставляли дверь открытой…

– Глупость. – Ийлэ потрогала языком клыки. – Соваться туда – безумие…

Ветер тронул ель, и та покачнулась, стряхивая с ветвей воду.

Соваться – одно безумие, оставаться – другое. И какое из двух будет менее болезненным? Если остаться, отродье точно ночь не протянет. А в дом… можно попробовать войти тихо… и тихо же выйти… Ийлэ ведь немного нужно.

Еды.

Для нее и для отродья, которое смотрит, ждет и, наверное, смирилось уже.

Ийлэ легла рядом, закрыла глаза, прислушиваясь к шелесту дождя.
Она попробует, просто попробует. Не ради отродья, но потому что сама нуждается в еде. Надо только подождать, когда наступит вечер…

Солнце утонуло в небесных хлябях. И закат отгорел, тусклый, разбавленный. Темнота же получилась кромешною.

Ийлэ не нужен был свет, она тропу помнила распрекрасно. Шла. Кралась, едва ли не на цыпочках. С поля кукурузу так и не убрали. Стебли ее терлись друг о друга, шелестели, ложились под ноги, тонули во влажной земле. И тропа вихляла.

А дом не приближался.

Он появился как-то вдруг, темной громадиной. Ийлэ замерла на краю, разглядывая его жадно, пытаясь понять, что же изменилось.

Ничего.

Белые стены. Черные прямоугольники окон. Фриз. И крыша двускатная, которая наверняка вновь подтекает. А северное крыло выпустило тонкие хлысты неурочных побегов, и они упрямо держали глянцевую листву, точно надеялись остановить зиму. Облетят. Подмерзнут. И ладно бы только они, но ведь и корни, не прикрытые шубой опада, пострадать способны.

Ийлэ едва вновь не рассмеялась, поняв, о чем она думает… дом? Это больше не ее дом. Он предал, как предали все: что люди, что вещи.

Бывает.

Раньше она не знала, что только так и бывает.

К дому Ийлэ пробиралась крадучись. Пуст был старый двор, а дверь кухонная – заперта, но открыто окно. Окна в кухне прежними оставили, с ними Ийлэ умела управляться. Нащупав щеколду, она легонько надавила на раму, которая поддалась охотно, будто дом, силясь хоть как-то загладить свою вину, решил помочь.

На кухне было тепло. Жарко. Настолько жарко, что Ийлэ растерялась. И еще от сытных запахов, которые окружили ее. Мясо. Молоко. Хлеб. Она целую вечность не ела хлеба и наверное забыла сам вкус его. Надо взять себя в руки.

– Мы быстро, – пообещала Ийлэ отродью. – Потерпи.

Только глаза в темноте блеснули, будто и не глаза, но перламутровые пуговицы…

…на мамином сизалевом платье были такие…

Нельзя думать. Нельзя вспоминать, память делает Ийлэ слабой.

Она положила отродье на стол и огляделась. Странно, что все почти по-прежнему. Печь остывает. Доходит в деревянной кадке тесто, и значит, поутру кухарка испечет хлеб, быть может, точь-в-точь такой, как прежде, с румяной корочкой, густо усыпанной кунжутным семенем. И запах хлеба выберется с кухни на первый этаж, а может, и на второй…

Ийлэ сглотнула вязкую слюну. Хлеб она найдет, а при везении – не только его. Главное, поторопиться.

Дверь в кладовку была заперта на засов, и несмазанные петли заскрипели, резанув по нервам. Ийлэ замерла, прислушиваясь к дому. Ничего. Никого.

Кем бы ни были новые хозяева, они спят. Пускай.

Ийлэ принюхалась к темноте.

И решилась, сделала шаг вниз по узкой лестнице. Второй и третий. На последней ступеньке нога соскользнула, и Ийлэ упала, к счастью на четвереньки. Ладони ободрала, кажется, но это мелочь, главное, она в подвале. И слева полки. Справа, помнится, тоже.

Жаль, свечи нет и приходится на ощупь, осторожно. Кувшины. В первом же молоко попалось, но прокисшее. В следующем – сыворотка… и сметана… Ийлэ проверяла кувшин за кувшином. Попутно стянула пару колец колбасы, которая сохла на крюках. Колбасу она сунула за пазуху, потуже затянув пояс. Остановилась. Хмыкнула – благо в подвале не было никого, крысы и те сбежали – и куртку стянула. Все одно мокрая и толку с нее никакого. А вот если завязать рукава и горловину перетянуть шнурком, то получится мешок. В мешок колбасы больше влезет.

И балык копченый.

И еще что-то длинное, квадратное, но явно съедобное. Сыр.

И снова колбаса, в которую Ийлэ, не выдержав, впилась зубами. Она откусывала куски, глотала не разжевывая, пытаясь хоть как-то заполнить пустоту в желудке. Голод, отступивший было, вернулся, и Ийлэ вдруг поняла, что еще немного и сдохнет прямо тут, в подвале.

То-то новые хозяева обрадуются.

Плевать.

Она заставила себя сунуть колбасу в мешок, а мешок перекинула через плечо. Тяжелый. И это хорошо, потому как ясно, что вновь пополнить запасы еды Ийлэ сможет не скоро.

Если вообще сможет.

А молоко обнаружилось на полках справа. Ийлэ не без труда вытащила тяжеленный кувшин, скользкий, запотевший, но с удобной ручкой. Молоко было свежим и холодным, но лучше такое, чем никакого, глядишь, отродью и понравится…

…или все-таки сдохнет?

Поднималась Ийлэ в превосходном настроении.

А дом снова предал.

Мог бы предупредить скрипом половицы, осторожным прикосновением сквозняка, тенью, что легла бы через порог, но нет, он смолчал.

Позволил выбраться. И увидеть.

Пес был огромен. Страшен.

Он стоял спиной к Ийлэ, склонившись над столом, над отродьем, которое… которая… от бессильной ярости Ийлэ зашипела, и пес обернулся.

– Надо же, – сказал он, и в голосе не было и тени удивления. – А вот и наша мамаша объявилась.

Он держал отродье на ладони, и то ли ладонь эта была велика, то ли отродье было мелким, но меж растопыренных пальцев выглядывала лишь макушка.

– Стоять! – Пес не спускал с Ийлэ настороженного взгляда. – Я тебя не трону.

Так Ийлэ ему и поверила.

Она медленно попятилась, но вовремя остановилась, сообразив, что запасного выхода подвал не имеет. А между Ийлэ и спасительным окном стоит пес.

И отродье опять же. Нельзя его бросать…

Пес же, втянув воздух, поинтересовался:

– Молоко?

Ийлэ кивнула.

– Сюда неси.

Она не сдвинулась с места. Она, быть может, и безумна, но не настолько, чтобы приближаться к псу.

Жуткий.

Бритая голова, раскроенная рубцами, как и все его тело. На шее рубцы потемневшие, а на груди свежие, бледно-розовые и лоснящиеся. Сквозь кожу сочится сукровица, и до Ийлэ доносится запах болезни, острый, едкий.

Смотрит. Не моргая. Исподлобья.

– Сюда неси, – повторил пес.

Голос рокочущий.

Ийлэ попятилась, прижимаясь спиной к стене. Дверь свободна. Если не через окно… если пес здесь один… главное, из дому выбраться, а там дождь следы смоет…

…болен.

…и вряд ли способен бежать быстро.

…но если перекинется…

– Стой, – рявкнул пес. – Ты же не хочешь, чтобы я ее уронил?

Он вытянул руку, повернув так, что видна стала не только макушка. Отродье лежало тихо.

Жива ли? Жива. Бьется нить-волосок, натянулась до предела…

– Не хочешь, – со странным удовлетворением в голосе произнес пес. – Тогда иди сюда.

Ийлэ обернулась на дверь. Что ей до отродья? Она ведь сама желала избавиться от него, и если не смогла оставить в лесу, то дом – другое. Быть может, пес и не станет убивать младенца.

Пугает. Или…

Он хмыкнул и перехватил отродье левой рукой, поднял за ноги.

– Рискни, – сказал он.

Ийлэ оскалилась.

Она уйдет и… и не сможет, потому что оловянные глаза отродья смотрят на нее.

Первый шаг дался с трудом. Колени дрожали. И руки, с трудом удерживавшие кувшин, который сделался большим и неудобным.

– Я тебя не трону. – Пес отвел взгляд, точно ему было противно смотреть на Ийлэ. А может, и противно. Она тощая. И грязная. И воняет от нее не только лесом, но так даже лучше… так спокойней… – Не трону. Клянусь предвечной жилой.

Хорошая клятва.

Вот только Ийлэ больше клятвам не верила. Она сумела сделать три шага, и только.

– Молоко, – удовлетворенно потянул пес, потянув носом. – Но холодное. Ей холодное нельзя, она и так замерзла. Вот там плита. Видишь?

Видит.

Старая, которую растапливали дровами и торфом, и тогда из труб шел черный дым, торф и ныне лежит на прежнем месте, в древней корзине, прикрытой сверху тряпицей… будто ничего не изменилось.

Ложь.

– Не эта. С этой возиться долго. Рядом. На кристаллах. – Пес вздохнул и, положив отродье на ладонь – девочка так и не издала ни звука, – сам шагнул к новехонькой плите. – Посудину найди.

Медные кастрюли остались на прежнем месте, что огромная, в которой кухарка варила похлебку для наемных работников, что крохотная, с изогнутой ручкой, для кофе…

…отец любил пить кофе по утрам. А мама пеняла, дескать, вреден он для сердца…

…сталь вредней.

Медь оказалась холодной и тяжелой, едва ли не тяжелей кувшина.

– Поставь, – велел пес. – И молока налей… слушай, а надо водой разбавлять?

Ийлэ не знала.

В прежней ее жизни она не имела дела с младенцами, поскольку те обретались в детских комнатах, окруженные няньками, кормилицами и гувернантками.

Пес отступил, пропуская Ийлэ к плите, и хотя она подошла очень близко, куда ближе, чем ей хотелось бы, не ударил. Чего ждет? Думает, что она и вправду поверит этой клятве?

Клятвы – это слова. А слова ничего не значат.

Стоит. Дышит тяжело, с присвистом… и кажется, Ийлэ знает, откуда у него шрамы, она даже слышит существо, поселившееся в груди у пса…

– Не думай даже, – спокойно сказал он, отступив еще на шаг. – Убьешь меня – умрешь сама. А ты не хочешь умирать.

Ошибается.

– Никто не хочет умирать. – Пес оперся на стену. – Но иногда приходится. Ты не отвлекайся. Сгорит сейчас.

Налить молоко в кастрюльку, не расплескав, не получилось.

Ийлэ замерла.

Ударит?

Стоит, баюкает отродье…

…а по кухне расползается запах паленого.

…и дверь хлопнула громко, заставив Ийлэ отпрянуть от плиты.

– Тихо. Это свои.

Своих здесь давно не было. Своих закопали на заднем дворе, но не сразу, а когда вонь невыносимой стала…

…Ийлэ помнит.

Лопату, которую ей вручили. Песочные часы. Землю укатанную, твердую… собственную слабость – она никогда не копала могил. Слезы в глотке. Боль. И удивление. Ей все еще казалось, что все происходит не с ней.

…управишься за полчаса – похороним, а нет – свиньи и падаль сожрут с удовольствием…

…управилась…

…и он выиграл спор, бросив напоследок:

– Главное – правильная мотивация…

Ийлэ заставила себя разжать руку и отступить от плиты. Вонь горелого молока становилась почти невыносимой, а отродье все-таки решило подать признаки жизни, и тонкий, едва слышный писк его ударил ножом по раскаленным нервам.

– Тише, маленькая, – пес провел большим пальцем по темной макушке, – сейчас мы тебя накормим… правда, мамаша? Нат, спускайся уже, хватит прятаться, я все равно тебя услышал…

Псов стало двое, а Ийлэ поняла, что уйти ей не позволят.

Глава 2

Альва.

Исхудавшая до полупрозрачности, грязная, альва. Райдо никогда их не видел, чтобы вот так, близко. Нет, война сталкивала, но там приходилось убивать, а не разглядывать.

Голова пьяная.

Тяжелая.

И мысли в ней бродят хмельные. Не голова – а бочка, та, в которой пиво ставят дозревать, правда, в отличие от бочки, от головы Райдо обществу пользы никакой.

– Ты там это, за молоком приглядывай, чтобы не перегрелось, – он не знал, как разговаривать с этой альвой, чтобы она наконец успокоилась.

Ненавидит.

Точно ненавидит. Чтобы понять это, достаточно в глазищи ее зеленые заглянуть. Они только и остались от лица. И еще скулы острые, того и гляди прорвется кожа. А щеки запали. И губы серыми сделались. Чудом на ногах держится, а туда же – ненавидеть.

Райдо никогда этого понять не мог.

– Райдо. – Нат приближался осторожно.

Умный пацан. Альва-то вся на нервах, чуть чего – и сбежит: лови ее потом под дождем…

– Стой! – велел Райдо, когда альва дернулась и попятилась. – Давай на конюшню. И в город. Доктора сюда притащи.

Вряд ли он, человек степенный, солидный, обрадуется ночной побудке. И прогулка под дождем, как Райдо подозревал, не вызовет энтузиазма, но ничего, ему заплатят. Платит же Райдо за еженедельные бесполезные визиты, во время которых только и слышит, будто ситуация вот-вот стабилизируется.

Смешно. Он того и гляди сдохнет, а они про ситуацию, которая стабилизируется.

– Вам плохо? – поинтересовался Нат.

А в руке нож.

Еще один ненормальный, который не понимает, насколько ненормален. Война закончилась, а он с ножом спит. И ест. И купается, надо полагать, тоже… и привычку эту свою считает полезной.

– Мне хорошо, – сказал и понял, что и вправду хорошо.

Нет, боль не исчезла, она верная, Райдо не бросит, но он сумел ее вытеснить на край сознания. И стоял сам. И младенца держал, боясь уронить, но руки, которые с трудом бутылку поднимали, надо же, не тряслись. Чудо, не иначе.

Чудо лежало на ладони неподвижно и только разевало рот в немом крике, и Райдо было страшно, что оно этим криком надорвется, оно ведь слабое, и малости хватит, чтобы исчезнуть.

– Мне очень хорошо. – Он осторожно провел по мягким пуховым волосикам, которые свалялись и слиплись, но все одно – против всякой логики и реальности пахли молоком. – А вот им плохо.

– Она альва.

– Сам вижу…

…а вот девочка – только наполовину… глаза серо-голубые, и разрез иной, не альвийский…

– Альва, – с нажимом повторил Нат и клинком в стол ткнул.

Альва, сгорбившись, зашипела.

– Нат! – Стой Райдо ближе, отвесил бы мальчишке затрещину.

Воин.

Было бы с кем воевать, она и сама того и гляди сдохнет. Если уйдет – точно сдохнет. А уйти она хочет и осталась лишь потому, что у Райдо – ребенок…

– Альва! – Нат нахмурился. Иногда он проявлял просто-таки невероятное упрямство. – Альве здесь нечего делать.

Ей нечего делать под дождем в осеннем зыбком лесу, который, надо полагать, почти заснул, и поэтому она пришла сюда. Случайно выбрала дом? Или… он ведь принадлежал кому-то раньше, до войны. Райдо старался не думать, кому именно. Трофей. Награда. Королевский подарок, не столько ему – все знают, что ему недолго осталось, – сколько семейству, которое в кои-то веки проявило единодушие и благородно оставило Райдо в покое.

Даже матушка.

А мальчишка не шевелится, замер, уставившись на альву, и нож в руке покачивается, то влево, то вправо… альва же взгляда с клинка не сводит.

Настороженная.

И чем дальше, тем хуже. Напряжение растет, Райдо чувствует его шкурой, а надо сказать, что после знакомства с разрыв-цветком его шкура стала просто-таки невероятно чувствительна.

– Нат, – сказал резко, и мальчишка, вздрогнув, оглянулся, – забываешься. Я в доме хозяин. И я решаю, кому здесь место, а кому…

Обиделся. Губы дрогнули, мелькнули клыки, и по щекам побежали серебристые дорожки живого железа, но Нат с обидой справился. И нож убрал за пояс, буркнул:

– Скоро буду.

Не будет.

Во всяком случае, не скоро, потому что не станет Нат ради альвы спешить. Нет, приказ исполнит, но ведь исполнять можно по-разному, и значит, самому нужно что-то делать. Знать бы что…

– Иди уже. – Райдо с трудом сдержался, чтобы не сорваться на крик. – А ты за молоком смотри. Снимай… да осторожно! Тряпку возьми.

Конечно, молоко перегрелось.

– Ложку подай… правда, где лежат, не знаю.

Она, после ухода Ната успокоившаяся – впрочем, спокойствие это было весьма относительным, – ложки нашла в буфете. И пожалуй, она не искала, но точно знала, что они там, в выдвижном старом ящике.

– Послушай, – Райдо кое-как присел, надеясь, что так она будет меньше его бояться, – я ведь сказал, что не трону тебя…

Оскалилась только. И ложку положила на стол, руку тотчас отдернула, за спину спрятала. Попятилась. Но не ушла. Хорошо… а Нат мог бы дверь и прикрыть.

– Я понимаю, что у тебя нет причин доверять мне… мы воевали… но если ты здесь, то это не потому, что тебе захотелось забраться в чужой дом.

Дернулась, но промолчала. Она вообще разговаривать способна?

– Полагаю, тебе просто больше некуда идти?

Райдо подул на молоко, которое подернулось толстой пленкой. В детстве он ее ненавидел, как и само кипяченое молоко с медом и топленым маслом, но матушка заставляла пить.

– Некуда. Оставайся.

Не шелохнулась. И не расслабилась. Не поверила этакому щедрому предложению?

Райдо зачерпнул ложечку молока и, поднеся к губам, подул. Попробовал кончиком языка, молоко не было горячим, но и не холодным.

– В этом доме полно свободных комнат. Кладовая, сама видела, полна… да и бедствовать я не бедствую…

Альва оглянулась на окна.

– Дождь. – Райдо приподнял головку младенца и повернул набок. Молоко он вливал по капле, а оно все одно растекалось, что по губам найденыша, что по подбородку. – Ты ж там была… думаю, долго была… пока лес не уснул, да? И если уйдешь, то сдохнешь. Или от голода, или замерзнешь насмерть. До заморозков сколько осталось? Неделя? Две?

Точеные ноздри раздувались.

Но альва молчала.

– Нет, если тебе охота помереть, то я держать не стану. – Младенец часто сглатывал, и Райдо очень надеялся, что глотает он молоко и что это молоко будет ему не во вред. – В конце концов, это личное дело каждого, какой смертью подыхать, но ребенка я тебе не отдам.

Оскалилась.

Зубы белые, клыки длинные, острые. И вот после этого находятся идиоты, которые утверждают, будто бы альвы мяса не едят. С такими вот клыками только на спаржу и охотиться.

– Кстати, как зовут-то…

Альва склонила голову набок.

– Ну… не хочешь говорить, и не надо, мы сами как-нибудь… – и Райдо решительно повернулся к альве спиной.

Не уйдет.

А если вдруг хватит глупости, то…

…ей или в город, или в лес…

…и даже под дождем след пару часов держится, а пары часов хватит, чтобы ее найти…

…правда, Райдо не уверен, что сумеет, он давненько не оборачивался, но Нату такое точно не поручишь… и все-таки хорошо бы, чтобы у этой упрямицы хватило мозгов остаться.

– Вот так, маленькая… еще ложечку… за мамашу твою безголовую… и еще одну… а ты, к слову, сама поела бы… только не переусердствуй. Нет, мне не жаль, но живот скрутит…

…скрутило.

От колбасы. От собственного нетерпения, которое заставило эту колбасу глотать не пережевывая. И теперь она осела тяжелым комом в желудке, а сам этот желудок, давно отвыкший от нормальной еды, сводила судорога.

Рот наполнился кислой слюной. Ийлэ сглатывала ее, но слюны становилось больше, и она стекала с губ слюдяными нитями.

Она, должно быть, выглядела жалко.

И плевать.

Пес спиной повернулся. Широкой, разодранной ранами, расшитой рубцами, которые словно линии на карте… границы… и под этими границами из плоти обретаются нити разрыв-цветка.

Если позвать… он слышит Ийлэ, а у нее хватит сил. И наверное, даже в удовольствие будет смотреть, как этот пес будет корчиться в агонии. Правда, тот, второй, который молодой и с ножом, отомстит. У него, пожалуй, хватит сил пройти по следу…

Убивать нет нужды. Он сдохнет и сам, если не сейчас, то через месяц… через два… или через три. Зима убаюкает разрыв-цветы и, быть может, подарит надежду псу, что это – навсегда. Или он знает?

Ийлэ сглотнула слюну.

Бежать? Пока он не смотрит, занят с отродьем, пытается накормить, а та глотает коровье молоко, но этого мало… еще бы неделю тому – хватило бы что молока, что тепла.

На этой глубокой мысли Ийлэ вывернуло. Ее рвало кусками непереваренной колбасы и слизью, тяжело, обильно, и она с трудом удерживалась на ногах, жалея лишь об одном, – колбаса пропала.

– Когда долго голодаешь, а потом дорываешься вдруг до еды, – сказал пес, но оборачиваться не стал, – то возникает искушение нажраться наконец от пуза. И многие нажираются, только вот потом кишки сводит.

Он говорил это так, будто ему случалось голодать.

– Тебе бульон нужен. И сухарики. Про сухари не знаю, но бульон где-то должен быть. Глянь в погребе…

Обойдется Ийлэ и без бульона, и без его щедрого предложения, которое на самом деле вовсе не щедро, а всего лишь приманка.

– Не переводи гордость в дурость. – Пес кинул ложечку на стол и отродье поднял, положил на плечо, прижав спинку широкой ладонью.

А он умный, значит?

Умный.

Смотрит. Усмехается, переступает с ноги на ногу… и девочка, закрыв глаза, молчит, но нить ее жизни стала толще, пусть и ненамного.

– И мешок свой брось. Если хочешь уйти, уходи так, как пришла, – жестко добавил пес.

Ветер распахнул окно, впуская холод и дождь.

Уйти.

Ийлэ уйдет. Потом. Когда у нее появятся силы, чтобы сделать десяток шагов… например завтра. И пес странно усмехнулся:

– Вот и ладно. Комнату сама себе выберешь.

И от этой неслыханной щедрости Ийлэ рассмеялась, она смеялась долго, содрогаясь всем телом, не то от смеха, не то от холода, который поселился внутри и рождал судорогу. Она захлебывалась слюной и слизью и голову держала обеими руками, потому что стоит руки разжать – и голова эта оторвется, полетит по кухонному надраенному полу, на котором уже отпечатались влажные следы…

А потом пол покачнулся, выворачиваясь из-под ног.

Дом снова предал Ийлэ.

Но ничего, к этому она привыкла…

…когда альва упала, Райдо испугался.

Он не представлял, что ему делать дальше, потому как и сам держался на ногах с трудом, не из-за болезни, но из-за виски, которое сделало его слабым. Неуклюжим. И думать мешало. Райдо отчаянно пытался сообразить, что ему делать, но в голове шумело.

– Бестолковая у тебя мамаша, – сказал он младенцу, который, кажется, уснул.

И ладно.

Младенца Райдо положил сначала на стол, а потом в плетеную корзину, где кухарка хранила полотенца. Свежие, накрахмаленные, вкусно пахнущие чистотой, они показались вполне себе пригодными для того, чтобы завернуть в них малышку.

Так оно теплее будет.

– Сначала разберусь с ней, – Райдо указал пальцем на лежащую альву, – а потом и тобой займусь.

Глядишь, там и доктор явится.

Альва дышала. И пульс на шее удалось нащупать. Райдо не без труда опустился на пол и похлопал альву по щекам.

Не помогло.

– А воняет от тебя изрядно, – заметил он.

Вблизи альва выглядела еще более жалко: непонятно, в чем душа держится.

– Я сюда, между прочим, приехал, чтоб помереть в тихой и приятной обстановке, а не затем, чтобы девиц всяких спасать… если хочешь знать, мне девицы ныне мало интересны.

Лохмотья ее промокли, пропитались не то грязью, не то слизью. Короткие волосы слиплись, и Райдо не был уверен, что их получится отмыть, что ее всю получится отмыть.

Вытянув руку, он нащупал кувшин с молоком, оказавшийся тяжеленным.

– Может, все-таки сама глаза откроешь? – поинтересовался Райдо, прежде чем опрокинуть кувшин на альву. Молоко растеклось по ее лицу, по шее, впиталось в лохмотья и по полу разлилось белой лужей.

Альва не шелохнулась.

– Нда. – Кувшин Райдо сунул под стол, подозревая, что ни экономка, ни кухарка этакому его самоуправству не обрадуются.

А и плевать.

– Плевать, – повторил он, подсовывая ладонь под голову альвы.

Прежде-то Райдо веса ее ничтожного не заметил бы, а сейчас самому бы подняться, он же с альвою… упадет – раздавит к жиле предвечной.

Не упал. Не раздавил.

И даже, пока нес к дверям, не сильно покачивался. А у дверей столкнулся с Дайной.

– Райдо! – воскликнула она, едва не выпустив из рук внушительного вида топор, кажется, им на заднем дворе дрова кололи. – Это… вы?

– Это я, – с чувством глубокого удовлетворения ответил Райдо и альву перекинул на плечо. Если на плече, то рука свободна и корзинку захватить можно. Жаль, что сразу об этом не подумал… корзину с младенцем на кухне оставлять никак нельзя.

– А… что вы делаете? – Дайна, кажется, растерялась.

Смешная.

В этой рубахе белой с кружавчиками, в ночном чепце, тоже с кружавчиками, в стеганых тапочках, правда, не с кружавчиками, но с опушкой из кроличьего меха.

И с топором.

– Женщину несу, – со всей ответственностью заявил Райдо, придерживая эту самую женщину, которая так и норовила с плеча сползти.

– К-куда?

– Наверх. Возьми корзинку.

Райдо палец вытянул, показывая ту самую корзину, которую надлежало взять. И добавил:

– Только тихо. Ребенок спит.

Дайна не шелохнулась.

Она переводила взгляд с Райдо, который под этим самым взглядом чувствовал себя неуютно, хотя, видит жила, ничего дурного не делал, на корзинку.

С корзинки – на приоткрытое окно.

И снова на Райдо.

Лицо женщины менялось. Оно было очень выразительным, это лицо. Прехорошеньким. Она сама, почтенная вдова двадцати двух лет от роду, была прехорошенькой, круглой и мягкой, уютной, что пуховая подушка. И пожалуй, не отказалась бы, ежели бы у Райдо появилось желание на эту подушку прилечь.

Желания не было: в пуху он задыхался…

– Вы… вы собираетесь… ее в доме оставить? – В голосе Дайны прорезалось… удивление?

Раздражение?

Райдо не разобрал, выпил много.

– Собираюсь, – ответил он.

– В доме?

– Ну не на конюшне же!

Розовые губки поджались. Кажется, Дайна полагала, будто на конюшне альве будет самое место.

– Корзину возьми. – Эта злость была иррациональной. На Райдо порой накатывало, от выпитого ли, от боли, которая выматывала душу, не суть,

главное, что порой в этой самой душе поднималась волна черной злобы.

К примеру, на Дайну. К корзине она приближалась бочком, точно младенец этот способен ее обидеть. И за ручку брала двумя пальчиками…

– Уронишь, сама на конюшню жить пойдешь. – Райдо повернулся спиной к экономке. Быть может, если он не будет на нее смотреть, то злость исчезнет.

– Вы… вы несправедливы, – всхлипнула Дайна, и Райдо ощутил укол совести.

И вправду несправедлив.

Он вообще порой редкостная скотина, но тут ничего не поделаешь – характер. А Дайна… Дайна досталась ему с этой растреклятою усадьбой. Супруг ее был управляющим. Кажется. Она точно говорила, кем он был, и вздыхала, сожалея, что брак ее не продлился и год… и еще что-то такое рассказывала.

Сейчас Дайна молчала, и молчания ее хватило до второго этажа: странно, но по лестнице Райдо поднялся без особого труда. Дверь открыл первую попавшуюся и пинком, потому как руки было страшно от стены оторвать.

– Вы… вы не можете оставить ее здесь, – произнесла Дайна, поставив корзинку с младенцем на пороге.

– Почему?

– Что скажут соседи?

Райдо сбросил альву на кровать и только потом ответил:

– А какое мне, хрысь тебя задери, дело до того, что скажут соседи? Принеси бульона. Надо эту, обморочную, напоить.

– Он для вас!

– Обойдусь.

– Он холодный…

– Подогреешь. – Райдо заставил себя выдохнуть и очень тихо, спокойно произнес: – Дайна, пожалуйста… принеси бульона.

К счастью, дальше спорить Дайна не стала.

Доктор явился незадолго до рассвета.

Сняв плащ, промокший насквозь, он передал его в руки Дайны.

– Доброй ночи, – вежливо поздоровался доктор.

С него текло.

Редкие мокрые волосы прилипли к лысине, и воротничок рубашки, пропитавшись влагой, сделался серым, а серый костюм – и вовсе черным. И доктор смахивал воду с лица ладонями и волосы норовил отжать, отчего те топорщились.

Рыжие.

Раньше Райдо не обращал внимания, что волосы у его доктора ярко-рыжие, какого-то неестественного, морковного оттенка, совершенно несерьезного.

И веснушки на носу.

И яркие синие глаза. Уши оттопыренные, покрасневшие от холода. И как человек с оттопыренными ушами может что-то в медицине понимать?

– Я вижу, вам намного лучше, – и голос неприятный, высокий, режущий. От него у Райдо в ушах звенеть начинает.

Или не от голоса, но от виски? А ведь Райдо так и не нашел бутылку… зря не нашел, глядишь, и легче было бы.

Нат держался сзади, глядя на доктора с непонятным раздражением.

– Намного, – согласился Райдо и ущипнул себя за ухо.

Детская привычка. Помнится, матушку она безумно раздражала, хотя ее, кажется, все привычки Райдо безумно раздражали, но что поделать, если ему так думается легче?

– Я рад.

Доктор держал в руках черный кофр, сам вид которого был Райдо неприятен.

– В таком случае, быть может, вы соизволите пояснить, какое срочное дело вынудило этого… в высшей степени приятного молодого человека заявиться в мой дом? Вытащить меня из постели и еще угрожать.

– Нат угрожал?

Дайна подала доктору полотенце, которым тот воспользовался, чтобы промокнуть и лысину, и волосы.

– Представляете, заявил, что если я не соберусь, то он меня доставит в том виде, в котором я, уж простите, пребывал… потрясающая бесцеремонность!

– Нат раскаивается, – не слишком уверенно сказал Райдо.

И доктор величественно кивнул, принимая этакое извинение.

Нат, фыркнув, отвернулся.

А сам-то вымок от макушки до пят, и, что характерно, пятки эти босые. Стоит в домашних штанах, в рубашке одной, которая ныне к телу прилипла. Тело это тощее, по-щенячьи неуклюжее, с ребрами торчащими, с впалым животом и чрезмерно длинными руками и ногами, с рябой шелушащейся кожей.
И надо бы сказать, чтоб переоделся, но Райдо промолчит. Хочется Нату геройствовать, по осеннему дождю едва ли не голышом разгуливая? Пускай. Дождь – не самое страшное… дождь, если разобраться, вовсе ерунда.

А Дайна чаю ему заварит, с малиновым вареньем.

Все награда.

– Так что у вас случилось? – не скрывая раздражения, произнес доктор.

И Райдо очнулся. О чем он, бестолковый пьянчужка, думает?

– Случилось. Ребенок умирает.

Рыжие брови приподнялись, выражая, должно быть, удивление. А и вправду, откуда в этом яблоневом предсмертном раю ребенку взяться? И Райдо велел:

– Идем.

Малышка уже не спала.

Она лежала тихонько в той же корзине, и Райдо подумалось, что следовало бы найти для нее иное, более подходящее для младенца, пристанище. И пеленки, чтобы белые и с кружевом, вроде тех, в которые племянников кутали.

– Не выживет, – сказал доктор, развернув рубашку. И брался за нее двумя пальцами, точно ему было противно прикасаться или к этой рубашке, или к младенцу.

Руку отнял, пальцы платочком вытер.

– Что? – Райдо показалось, что он ослышался.

Как не выживет? Он ведь молоком напоил. И еще напоит, но не сразу, чтобы ей плохо не стало. И завернул вот в рубашку, а еще полотенцами накрыл… и, быть может, Дайна отыщет одеяльце… или что там еще надо, чтобы детенышу было тепло.

– Не выживет, – спокойно, равнодушно даже повторил доктор, складывая свой платочек. И в этот момент он выглядел предельно сосредоточенным, словно бы

в мире не было занятия важней, чем этот треклятый платочек, каковой следовало сложить непременно треугольничком. – Крайняя степень истощения. Я вообще удивлен, что она дышит…

Он наклонился, поднял кофр, поставив его рядом с корзиной, и Райдо стиснул кулаки, до того неприятным, неправильным показалось этакое соседство. В кофре в сафьяновом футляре хранятся инструменты, хищная сталь, которая причиняет боль едва ли не большую, чем разрыв-цветы. Есть там и склянки с едкими дезинфицирующими растворами, и заветная бутыль опиумного забвения, которое ему настоятельно рекомендуют.

Ее-то доктор и извлек.

– Единственное, что в моих силах, – сказал он, зубами вытащив пробку, – это облегчить ее страдания…

Страдающей малышка не выглядела.

Лежала себе тихонько, шевелила губенками, и по щеке сползала нить беловатой слюны… и Райдо вспомнил, что детей надо класть на бок, чтобы они, если срыгнут, не подавились.

– Несколько капель, и она уснет…

– Идите в жопу. – Райдо провел пальцем по макушке.

Надо будет искупать ее, а то не дело это, чтобы ребенок грязным был. Только он не очень хорошо помнит, как это делается. Вроде бы травы нужны, а какие именно?

И если этих трав он не найдет, то можно ли без них?

И воду еще локтем проверяют, потому что пальцем – неправильно, правда, в чем неправильность, Райдо не знает.

– Простите? – Доктор замер со склянкой в одной руке и с ложечкой, которую с готовностью подала Дайна, в другой.

И Дайна замерла, приоткрыв рот, должно быть от возмущения.

Нат, который молчаливым призраком устроился на пороге – а переодеться не удосужился, – беззвучно хохотал.

– В жопу идите, – охотно повторил Райдо и малышку из корзины вытащил.

Умрет? Ничего. Ему тоже говорили, что он умрет. Еще тогда, на поле… и потом, в госпитале королевском, где полосовали, вытаскивая зеленые побеги разрыв-цветка. В королевском-то госпитале никто не стремился быть тактичным, здраво полагая, что пользы от такта нет. И тамошний врач, седенький, сухонький, весь какой-то мелкий, но лишенный суетливости, честно заявил, глядя Райдо в глаза, что шансов у него нет.

Два месяца дал.

А Райдо уже четыре протянул.

И зима скоро. Зиму он точно переживет, и значит, на хрен всех докторов с их прогнозами.

– Простите. – Доктор оскорбленно поджал губы, и щеки его обвисли, и сам он сделался похожим на толстого карпа, каковых приносили на матушкину кухню живыми, замотавши во влажные полотенца. Карпы лежали на леднике, разевали пасти, и губы их толстые были точь-в-точь такими же кривыми, некрасивыми. А глаза – стеклянными.

Правда, свои доктор прячет за очочками, круглыми, на проволочных дужках.

– Позвольте узнать, сколько вы сегодня выпили? – Его голос звенел от гнева, но ведь духу высказаться в лицо не хватит.

– Много, – честно ответил Райдо.

И малышку прижал к плечу.

Становилось легче. Парадоксально, то, что сидело внутри его, никуда не исчезло. И боль не исчезла. И разрыв-цветок, который продолжал расти, проталкивая под кожей тонкие плети побегов. Райдо чувствовал их, но больше это не казалось таким уж важным.

Не настолько важным, чтобы напиться.

– Вы не отдаете себе отчета в том, что происходит.

– Охренеть.

– Вот именно. – Доктор резким движением вбил пробку в бутыль. – Как вы изволили выразиться, охренеть… меня вытаскивают среди ночи из постели, угрожают…

Бутыль исчезла в кофре, который захлопнулся с резким щелчком.

– Тащат под дождем за пару миль, а когда я пытаюсь исполнить свой долг, то посылают в…

– В жопу, – подсказал Райдо, не из желания позлить этого, доведенного до края человека, но исключительно для точности изложения.

– Именно. – Доктор выпрямился. – Вы пьяны и неадекватны. А ребенок… он уже мертв, даже если выглядит живым.

– Посмотрим.

Тельце под ладонью Райдо было очень даже живым.

– О да… ваше упрямство… оно, быть может, помогает держаться вам, но дайте себе труда подумать, как это самое упрямство спасет вот ее… – доктор вытянул дрожащий палец, – от крайней степени истощения… или от переохлаждения… от бронхита, пневмонии…

Каждое слово он сопровождал тычком, благо не в младенца, но в ладонь Райдо.

– Как-нибудь.

– Как-нибудь… это пресловутое как-нибудь… вы продлеваете ее агонию…

Он вдруг резко выдохнул и сник, разом растеряв и гнев и возмущение.

– Поймите, я не желаю ей зла. Я просто понимаю, что шансов нет. Как бы вам этого ни хотелось, но нет. И в конце концов, что вам за дело до этого ребенка?

Странный вопрос. А человек смотрит поверх своих очочков дурацких и ждет ответа, точно откровения.

– Это мой ребенок. – Райдо погладил малышку.

Надо будет имя придумать. Правда, матушка в жизни не доверила бы ему столь ответственное дело, как выбор имени, но матушки здесь нет. А ребенок есть. Безымянный.

Нет, может статься, что альва его уже назвала, но… когда она еще заговорит. И заговорит ли вообще.

– Ваш?! – Рыжие брови доктора поползли вверх, и на лбу этом появились складочки.

Веснушчатые.

– Мой, – уверенно заявил Райдо. – Я его нашел.

Кажется, его все-таки сочли ненормальным.

И плевать.

Доктор снял очки и долго, как-то очень старательно полировал стеклышки все тем же платочком, который недавно столь аккуратно складывал.

Без очков он выглядел жалким.

И несчастным.

И подслеповато щурился, смотрел куда-то за спину… Райдо обернулся. Надо же, альва объявилась, стоит, вцепившись обеими руками в косяк, и скалится… угрожает.

Кому?

– Молоко лучше давать козье. Если с животом начнутся нелады, то к молоку добавлять отвар льняного семени. Я оставлю… и укропную воду, по нескольку капель… рыбий жир опять же… главное, кормить понемногу, но часто… и днем и ночью…

Он говорил быстро, запинаясь.

И на альву не смотрел. Очень старательно не смотрел.

И выходил из комнаты пятясь.

И стеклышки все тер и тер, тер и тер, едва на Ната, устроившегося за порогом, не наступил. А заметив, шарахнулся в сторону, прижался к стене.

Очочки нацепил. Вздохнул.

И пошел, за стену держась, заслоняясь кофром своим…

– Эй, доктор, – Райдо проводил его до лестницы, – звать-то ее как?

– Ийлэ…

Красивое имя. Альвийское.

– Ничего, – пообещал Райдо малышке шепотом, – у тебя будет не хуже…

Глава 3

Утро.

Дождь прекратился. И солнце, подобравшись с востока, плеснуло светом, разлило белые пятна на паркете. Ийлэ потрогала их.

Теплые. Дерево ласковое, старое.

Надо же, а ей казалось, что дом сгорит дотла.

Ошиблась.

Живой, почти как прежде. И паркет вот не пострадал, а обои переклеили и явно наспех, потому выбрали дешевые из плотной рыхлой бумаги. Белое поле, зеленые птицы скачут по зеленым же веткам, и кажется, будто ветки эти, изгибаясь причудливым образом, норовят птиц поймать. А те выскальзывают.

Ийлэ и обои потрогала. Холодные.

Подоконник тоже. Рамы в этом крыле еще отец менять собирался, потому что дерево рассохлось и зимой сквозило. До зимы есть еще время, но холодом тянет по пальцам.

Странно. Она жива. И в доме. Сидит на полу. Осматривается…

Доктор приходил. Ему Ийлэ не верит, он предал тогда… человек… чего еще ждать от человека?

Опиум.

Он и ей совал тогда, уверяя, что с опиумом будет легче… тоже лгал… никому нельзя верить, а особенно – осеннему солнцу и непривычному, подзабытому уже ощущению покоя.

Ийлэ поднялась.

В ванной стены были теплыми, и значит, работал старый котел. Или уже новый? Но главное, из крана шла горячая вода, и, сунув ладони под струю, Ийлэ со странным удовлетворением смотрела, как краснеет кожа.

Струя разбивалась о стенки ванны, тоже знакомой – еще один осколок прошлой ее жизни, – и наполняла ее.

А если Ийлэ в доме, то почему бы и не помыться?

Она не мылась… давно, с тех пор как вода в ручье сделалась слишком холодна для купания, а на поверхности озерца стал появляться лед. Тонкая пленка, которая таяла от прикосновения, обжигая.

– Сваришься, – раздался сзади недовольный голос.

Пес?

Ийлэ замерла. Нельзя оборачиваться. Ударит.

Если не обернется, тоже ударит, но тогда Ийлэ не увидит замаха, не сумеет подготовиться.

Она все-таки обернулась.

Стоит в дверях, загораживая собой весь проем. Белая рубашка, домашние штаны… и босой… ступни огромные, некрасивые, с темными когтями.

– Я… подумал, что тебе… вот, – он наклонялся медленно, осторожно, и видно было, что движение причиняет ему боль, – …переодеться… правда, не уверен, что подойдет… я прикинул, что если Дайны шмотье, то тебе точно большое будет. Да и она не особо горит желанием делиться…

Пес положил на пол стопку одежды.

– А вот Натово – так, глядишь, и впору… старое, конечно… он вырос уже… я вообще фигею с того, как быстро он растет… вот что значит нормально жрать

стал. Детям вообще важно нормально жрать…

Судя по его размерам, в детстве пес питался вполне прилично.

Ийлэ головой тряхнула: что за чушь он несет?

Главное, не ударил. И отступил. И теперь, даже если захочет, то не дотянется.

– Слушай, – он ущипнул себя за мочку уха, – я тут думал… раз ты со мной говорить не хочешь, то… ребенку без имени нельзя. А если назвать Броннуин?

Как?

Нет, об имени для отродья Ийлэ не думала. Зачем имя тому, кто рано или поздно издохнет, но… Броннуин?

– Не нравится, – вздохнул пес. – Кстати, меня Райдо кличут… если тебе, конечно, интересно.

Нисколько.

Ийлэ… она задержалась в доме лишь потому… чтобы помыться… она ведь не мылась целую вечность, и воняет от нее зверски, и если еще одежду сменить на чистую, пусть старую, но не влажную, не заросшую грязью…

– Послушай… – Пес не ушел, но и приблизиться не пытался, он сел на пол, ноги скрестил, и босые ступни изогнулись, а Ийлэ увидела, что и на ступнях у него шрамы имеются, но старые, не от разрыв-цветка. Она смотрела на эти шрамы, чтобы не смотреть в глаза.

Псы ненавидят прямые взгляды.

– Послушай, – повторил он, – была война… случалось… всякое… но война закончилась и…

Он замолчал и снова себя за ухо ущипнул.

– Никто тебя не тронет. Здесь безопасно, понимаешь?

Ложь. Нигде не безопасно.

– Не веришь? Ну… да, у тебя, похоже, нет причин мне верить, просто… не спеши уходить. Уйти всегда успеешь, держать не стану… но вот… в общем, я малышку покормил. Спит она. Ест и спит. А идиоту этому не верь, выживет…

Доктор не идиот, он человек, который вовремя сообразил, как правильно себя вести, оттого и цел остался и семейство его уцелело, супруга, что часто заглядывала на чай и притворялась маминой подругой, дочери. Мирра, надо полагать, сохранила любовь к муслиновым платьям в мелкий цветочек и привычку говорить медленно, растягивая слова. А Нира… Ниру Ийлэ и не помнила. Что с ней стало?

Не важно, главное, что они, и доктор, и все его семейство, остались в той, нормальной жизни, которая Ийлэ недоступна.

Она не завидует, нет. И она понимает, что доктор – не дурак. Сволочь просто.

Пес молчал, смотрел с прищуром, внимательно, но во взгляде его не было того ожидания, которое являлось верным признаком новой боли.

– Ясно… значит, Броннуин тебе не нравится?

Ийлэ пожала плечами: в сущности, какая разница?

– Не нравится… а Хильмдергард?

Ийлэ фыркнула.

– Да, пожалуй… но я еще подумаю, ладно?

Убрался.

И дверь за собой прикрыл. Ийлэ выждала несколько минут и, на цыпочках подобравшись к двери, заглянула в замочную скважину.

Комната была пуста.

Это ничего не значит. И она, задвинув щеколду, подперла дверь стулом.

Мылась быстро, в той же горячей, опаляющей воде, в которой грязь сходила хлопьями, а кожа обретала красный вареный цвет. А потом, выбравшись из ванны, обсыхала, нюхая собственные руки, потемневшие, загрубевшие.

Мама говорила, что руки – визитная карточка леди…

Хорошо, что мама умерла.

Нет, тогда Ийлэ казалось, что плохо, что невозможно с этой смертью смириться и что не бывает ничего, хуже смерти… она еще умела плакать и плакала. А потом поняла: ошибалась.

Смерть – это порой благословение, особенно если быстрая.

Одежда оказалась великовата и пахла неуловимо щелочным мылом и еще лавандой, которой, надо полагать, переложили ее, от моли спасаясь.

…мама сушила лаванду на чердаке и собирала ломкие стебли, перевязывала их ленточкой. Мешочки шила из тонкого сукна. Аккуратными выходили, изящными даже. Синие – для лаванды. Красные – для розы, для ромашки – желтые, и белые еще были, в которые прятали гвоздичный корень.

Надо выходить.

Пес говорил, что не тронет, но лгал. Ийлэ не в обиде, она точно знает, что все лгут, а милосердия от врага ждать – глупость. Но и злить его нарочно не следует. И, пригладив волосы – гребня не нашлось, – Ийлэ осторожно выглянула из ванной комнаты.

Спальня была пуста.

И коридор. И не высовываться бы из комнаты, раз уж Ийлэ подарили несколько минут одиночества, но только тонкая нить жизни отродья натянулась, звенит. Если идти по нити… мимо дверей – новые поставили, а шпалеры, которыми стены укрыты, прежние… и пол… а ковровой дорожки нет. Наверное, ее на чердаке спрятали… вместе с маминым ломберным столиком и креслом-качалкой, с сундуками, куда складывали старые наряды Ийлэ и кукол ее…

…на чердаке ее искать не станут…

…и если тихо…

На цыпочках…

Только сначала отродье забрать. Если пес позволит.

Положив ладонь на дверь из старого темного дуба, Ийлэ решительно толкнула ее.

Пусто.

Нет.

Пахнет… болезнью пахнет. Опиумом. Виски. И последний запах, предупреждающий, заставляет ее пятиться, сжиматься в комок, и сердце колотится.

Уходить.

Немедленно, пока он… он ведь вышел ненадолго и скоро вернется, и тогда…

Корзина стояла на столе рядом с вазой, в которой умирали поздние астры. До нее всего-то два шага, она успеет вытащить отродье и спрятаться на чердаке.

Вдвоем.

Ийлэ укусила себя за руку, и боль помогла сделать первый шаг. Протяжно заскрипел пол… здесь паркет новый, свежий и из дрянной доски, которая не высохла, оттого и гуляет.

Выдает.

Ничего.

Никого. Только запах болезни, гноя и крови. Только комната грязная. Пустые бутылки. Много пустых бутылок. Гардины из дешевой ткани, темной в крупные белые розы, которые как-то совсем уж с псом не увязываются. Гардины сомкнуты плотно, но свет пробивается, ложится узкой полоской на пол.

Ковер.

Пыль под кроватью. У кровати. Столик и медный таз с водой. Ночной горшок, перевернутый кверху дном. Странно, что пес его вовсе не вышвырнул. Полотенца влажной грудой. Грязные.

И рубашка, что скомкана, брошена на кресло, тоже нечиста.

Сапоги… левый почти исчез под покрывалом, правый стоял на столе рядом с корзиной. Там же Ийлэ обнаружила и высокую кружку с остывшим бульоном. Воровато оглянувшись, она сделала глоток.

Сладкий.

И крепкий. Сваренный на мозговых косточках, он оставил на языке и нёбе жирную пленку, а желудок заурчал, требуя добавки. Ему было мало глотка.

Пес разозлится, но он и так разозлится, поняв, что в комнате его побывали, а на сытый желудок чужую злость переносить легче. Ийлэ схватила погрызенную корку хлеба, которая, верно, лежала не первый день и зачерствела до сухости. Корку она спрятала в кармане, а кружку осушила в два глотка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/karina-demina/hozyayka-bolshogo-doma-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить